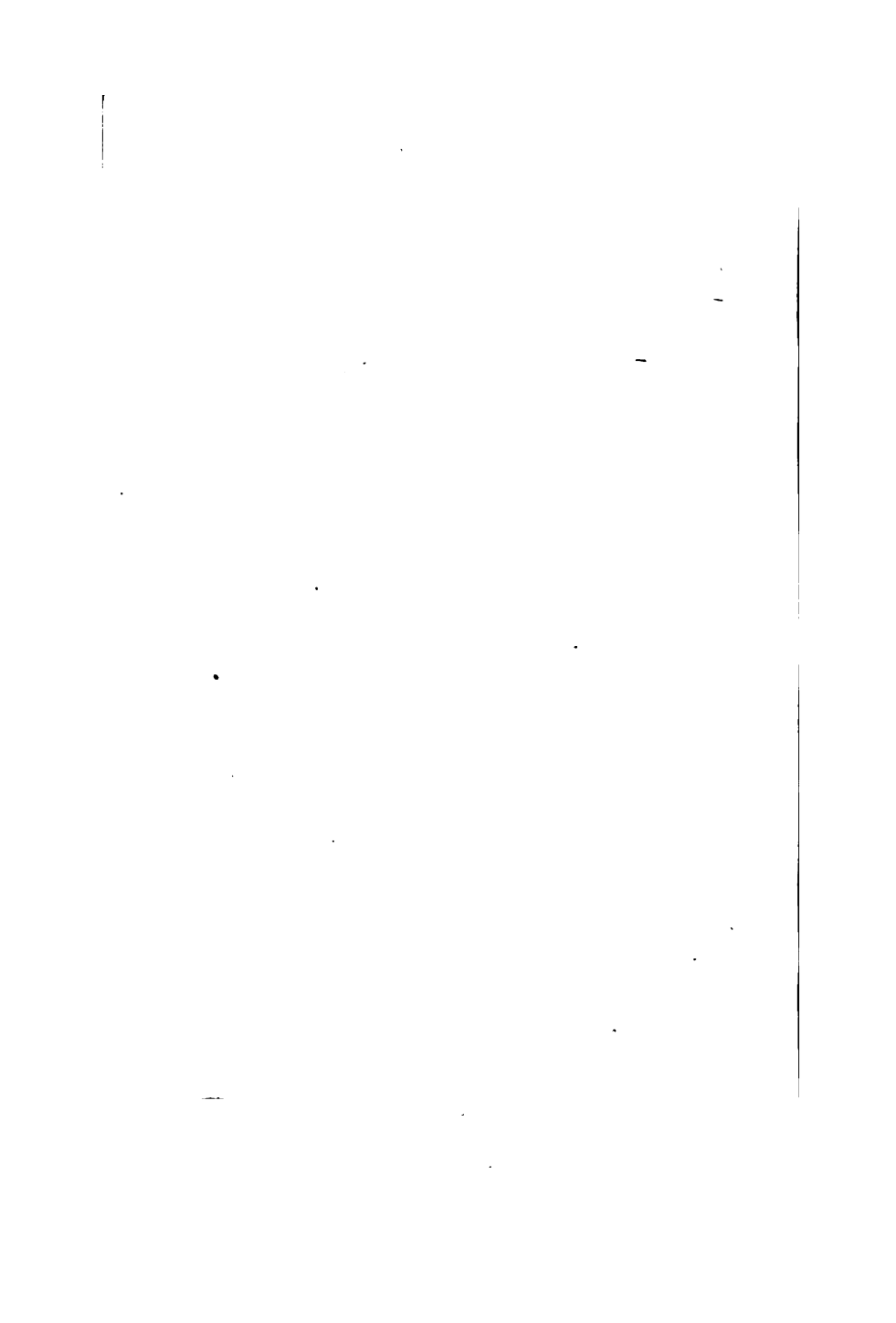


ИСКУСНТЕЛЬ.



ИСКУСИТЕЛЬ.

СОЧИНЕНИЕ

М. Заозкина.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

C'est un tableau de fantaisie dont
tous les détails sont peints d'après
nature.

МОСКВА.

Въ Типографіи Александра Семена,
на Софійской улицѣ.

1854.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

**съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено
было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное
число экземпляровъ. Москва. 4 Декабря, 1853
года.**

Ценсоръ В. Флеровъ.

ИСКУСИТЕЛЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ЖАСКАРАДЪ.

На другой день я проснулся или, лучше сказать, очнулся часу въ двѣнадцатомъ. Голова моя была тяжела какъ свинецъ. Сначала я не могъ ничего порядкомъ припомнить: мнѣ все казалось, что я видѣлъ какой-то безпутный сонъ, въ которомъ не было никакой связи; но мой слуга, котораго я кликнулъ, вывелъ меня тотчасъ изъ заблужденія.

— «Гдѣ это, сударь,» — спросилъ Егоръ, — «вы изволили такъ подгулять?»

— «Гдѣ? какъ гдѣ? Да развѣ я гдѣ нибудь былъ?»

— «Еге, баринъ, какъ память-то вамъ отшибло! Да васъ вчера гораздо за полночь привезли откудова-то въ каретѣ. Ну, Александръ Михайловичъ, вы видно изволили хлебнуть по нашему!»

— «Что ты врешь, дуракъ!... Одѣнкожъ, постой!... въ самомъ дѣлѣ... вѣдь я былъ вчера у барона?... Такъ точно!... я пилъ Шампанское...»

— «Ну вотъ изволите видѣть!»

— «Постой, постой!... Мамзель Виржини... синьора Карини...»

— «Что такое, сударь?...»

— «Луцкой... похороны... фонъ Нейгофъ въ Цыганскомъ платьѣ... что это такое?...»

— «Не выпить ли вамъ водицы?» шепнулъ Егоръ, покачивая головою.

— «Здравствуй, Александръ!» — сказалъ Закамской, входя въ комнату. «Что это?... въ постелѣ?... Ты боленъ?...»

— «Да! у меня очень болить голова,» — отвѣчалъ я, надѣвая мой халатъ и туфли. — «Я вчера поздно приѣхалъ домой; за ужиномъ пилъ это проклятое Шампанское...»

— «Гдѣ?»

— «У барона Брокена.»

— «Скажи пожалуйста, откуда выкопалъ ты этого барона?»

— «Я съ нимъ познакомился нѣсколь-
ко дней тому назадъ.»

— «Кто онъ такой?»

— «Кажется богатый человѣкъ; онъ путешествуетъ по всей Европѣ, и, мо-

жетъ быть, долго проживеть у насъ въ Москвѣ.»

— «А что у него вчера былъ за праздникъ?»

— «Такъ, вечеръ. Пѣли Цыгане, играли въ карты, ужинали...»

— «Да ктожь у него былъ?»

— «Почти все иностранцы.»

— «А иностранокъ не было?» спросилъ съ улыбкою Закамской.

— «Какъ же! Двѣ дамы: одна Италіанка, другая Француженка, и обѣ прелесты!»

— «Право! Такъ тебѣ было весело?»

— «Да, конечно, сначала; но подъ конецъ я былъ въ какомъ-то чаду, бредилъ какъ въ горячкѣ, и видѣлъ такія странныя вещи...»

— «Что такое?»

— «Да какъ бы тебѣ сказать? Въ комнатѣ хохотъ, пѣсни, Цыгане, а на

улицѣ похороны; на небѣ какой-то фейерверкъ... Въ комнатѣ за мной ухаживали двѣ прекрасныя женщины; а на улицѣ, противъ окна, стоялъ Яковъ Сергѣевичъ Луцкой, дѣлалъ мнѣ знаки, манилъ къ себѣ... И все это я видѣлъ — точно видѣлъ.»

— «А много ли ты выпилъ рюмокъ вина?»

— «Право не помню.»

— «Вотъ то-то и есть! Кто пьетъ безъ счету, такъ тому и Богъ вѣсть что покажется.»

— «Да это еще не все. Представь себѣ: вѣдь нашъ пріятель, Нейгофъ, мастерски пляшетъ по-цыгански.»

— «Что, что?»

— «Да! онъ вчера и пѣлъ и плясалъ вмѣстѣ съ Цыганами.»

— «Вчера? въ которомъ часу?»

— «Часу въ первомъ ночи.»

— «Ну, Александръ! видно же ты порядкомъ парѣзался! Да знаешь ли, что бѣдняжка Нейгофъ очень боленъ? Я вчера просидѣлъ у него большую часть ночи и съ нимъ именно въ первомъ часу сдѣлался такой сильный и продолжительный обморокъ, что я ужасно испугался,—ну точно мертвый! Теперь, слава Богу, ему лучше. Да что это, Александръ? Ты, кажется, вовсе пить неохотникъ, а такіа диковинки мерещутся только записнымъ пьяницамъ съ перепоею. Нашъ важный и ученый магистръ плясалъ по-цыгански!... Ну, душенька, ты рѣшительно былъ пьянъ.»

— «Я и самъ начинаю тоже думать,» сказалъ я, потирая себѣ голову. — «и могу тебя увѣрить, что это въ первый и послѣдній разъ.»

— «Послушай, Александръ,» — сказалъ Закамской, помолчавъ нѣсколько времени, — «ты не ребенокъ, а я не

старикъ, такъ мнѣ читать тебѣ мораль
вовсе не кстати; а воля твоя, этотъ
баронъ мнѣ что-то больно не нравится.
Онъ уменъ — очень уменъ; но его об-
разъ мыслей, его правила...

— «Не беспокойся, мой другъ, онъ
не развратитъ меня.»

— «Дай-то Богъ!»

— «Скажи мнѣ, Василій Дмитричъ,
давно ли ты видѣлъ Днѣпровскихъ?»

— «А, кстати! Алексѣй Семеновичъ о
тебѣ спрашивалъ, а жена его препору-
чила мнѣ просить тебя сего-дня на ве-
черъ.»

— «Сего-дня я никуда не поѣду: я
нездоровъ.»

— «Полно нѣжиться, Александръ!
Ну что за важность — голова болитъ!
Приѣзжай сего-дня къ Днѣпровскимъ.
Знаешь ли что? Ты очень поправился
и мужу и женѣ, а особливо женѣ...
Да не красиѣй: тутъ нѣтъ еще ничего

дурнаго. Она поговорить съ тобой о лунѣ, о милой природѣ; ты прочтешь ей «бѣдную Лизу,» «Наталю боярскую дочь;» быть можетъ, поплачете вмѣстѣ, да тѣмъ дѣло и кончится. Я хорошо знаю Диѣпровскую: она немного вѣтренна, любить помечтать, слетать воображеніемъ въ туманную область небытія, посантиментальничать, поговорить о какой-то неземной любви; но ужъ конечно никто на свѣтѣ, даже любая Московская старушка, не найдетъ ничего сказать дурнаго объ ея поведеніи, и повѣрь мнѣ: если ты желаешь сохранить дружбу Надины, то совѣтую тебѣ не пускаться съ нею въ любовныя изъясненія.» Тутъ я вспомнилъ о письмѣ, которое показывалъ мнѣ баронъ, и невольно улыбнулся.

— «Ого!» сказалъ Закамской, — «какая самодовольная улыбка! Да ты рѣшительно смотришь побѣдителемъ! Видишь, какой Пигмаліонъ!... Сколько

людей старались напрасно оживить эту прекрасную статую, а онъ, какъ Кесарь, пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ!... Ну братъ, Александръ, заранѣе поздравляю тебя съ носомъ!»

Я любилъ Машеньку, а Дидьпровская мнѣ только нравилась; но самолюбіе... охъ это самолюбіе!... Посмотришь: человѣкъ сходитъ съ ума отъ женщины, забываетъ всѣ приличія, дѣлаетъ тысячу дурачествъ, губитъ свою будущность, теряетъ друзей, идетъ стрѣляться за эту женщину на двухъ шагахъ, однимъ словомъ, все приносить ей въ жертву; и вы думаете, что онъ страстно ее любить?... О, нѣтъ! онъ не хочетъ только, чтобъ она любила другаго; для него нестерпима мысль, что этотъ *другой* можетъ сказать: «она оставила его для меня.» Еслибъ эта женщина умерла, то, быть можетъ, онъ не вздохнулъ бы о ней ни разу; но она измѣнила, то есть *предпочла* ему другаго и онъ, въ

минуту бѣшенства, готовъ рѣшиться на все. Насмѣшки Закамскаго раздвѣлили во мнѣ это демонское самолюбіе. «Остаться съ носомъ — мнѣ!... Когда изъ одного великодушія я отвергаю любовь, которую мнѣ такъ явно предлагаютъ... Ахъ, чортъ возьми!... это обидно!... Такъ я же докажу Закамскому, что если многіе изъ его пріятелей и, можетъ быть, онъ самъ, остались съ носомъ, то ужъ конечно я не прибавлю числа этихъ забракованныхъ волоките!... Сначала докажу ему это, а послѣ... ну, разумеется, уѣду изъ Москвы, женюсь на моей невѣстѣ... Да, да!... нѣскольکو мѣсяцевъ Надинѣ, а потомъ всю жизнь Машенькѣ, всю до самой смерти!»

Прощаясь съ моимъ пріелемъ, я почти далъ слово, что мы вечеромъ увидимся у Динпровскихъ.

Весь этотъ день я пробылъ дома. Часу въ седьмомъ вечера, въ то время,

какъ я собирался уже ѣхать, мой слуга подалъ мнѣ письмо: оно было отъ Машеньки. Когда я увидѣлъ почеркъ этой милой руки, сердце мое забилося отъ радости; я забылъ все — и плѣнительную улыбку Надины и ея черные пламенные глаза; встревоженное самолюбіе замолкло въ душѣ моей; въ ней воскресло и оживилось все прошедшее. Въ этомъ почти дѣтскомъ письмѣ не было ни сантиментальныхъ фразъ, ни *проникнутыхъ* сильнымъ чувствомъ словъ, которыя *жгутъ* бумагу. Съ первыхъ строкъ можно было отгадать, что моя невѣста не читала «Новой Элоизы;» она не описывала мнѣ любви своей; но за то каждое слово въ письмѣ ея дышало любовью, въ каждомъ словѣ, какъ въ зеркалѣ, отражалась ся чистая, небесная душа. Машенька рассказывала мнѣ о своихъ занятіяхъ; о томъ, какъ они праздновали день моего рожденія, какъ служили молебень. «Ахъ, бра-